

Понятность – вещь не лингвистическая

— Не считаете ли Вы, что форма православного богослужения, использование архаичного старославянского, отталкивает от Церкви молодежь?

— А «старежь» это не отталкивает? Молодому-то легче понять старославянский язык, чем пожилому. Мышление у молодых более гибкое. Но старики в храм ходят и не жалуется на «непонятность».

Отчего это язык, который был понятен неграмотным крестьянам XVIII в., вдруг стал непонятен кандидатам наук XXI в.? В церковнославянском (старославянском) языке всего лишь десяток корней, которых нет в современном языке (*украинском, болгарском, русском, сербском – примеч. ред.*). За последние десять лет мы с вами выучились словам типа «ваучер» и «фьючерс», «сайт» и «провайдер», «хоббит» и «квиддич». Неужели трудно понять, что означают слова «живот», «присно», «выну» и так далее? Для образованного человека, я думаю, проблемы это никакой не составляет. А необразованной молодежи в храмах сейчас просто нет.

Бабушкам в храме не скучно и не непонятно. И если происходящее в храме непонятно человеку с высшим образованием (особенно с гуманитарным) — значит, человек просто не желает приложить усилий к пониманию. А без воли к пониманию никакое постижение невозможно. Следовательно, дело не в трудности и неразрешимости задачи, а в нежелании приступить к ее разрешению. Как справедливо заметил преподобный Софроний (Сахаров): «Неуместны доводы якобы непонятности для многих современных людей старого церковного языка; людей поголовно грамотных и даже образованных. Для таковых овладеть совсем небольшим количеством неупотребительных в обыденной жизни слов — дело нескольких часов. Все без исключения затрачивают огромные усилия для усвоения сложных терминологий различных областей научного или технического знания; политических, юридических и социальных наук; языка философского или поэтического... Почему бы понуждать Церковь к утере языка, необходимого для выражения свойственных высших форм богословия или духовных опытов?».

А потом, напрасно Вы думаете, что если в храме служить на современном языке, то там будет больше молодежи. Появятся другие отговорки: «Посты длинные, службы долгие, скамейки жесткие, пол холодный, и вообще с пивом мы вчера перебрали... Вот была бы на этом мраморном полу дискотека — вот тогда мы пришли бы...».

Есть люди, которые ищут самооправдания своей нецерковности. Они верят, но живут «мимо» Церкви. Сейчас практически нет людей, которые были бы сознательными атеистами ...

Нет, не язык разделяет эти два мира: Церковь и молодежь. Я не поддаюсь обаянию формулы, гласящей, что если бы, мол, мы перешли на современный язык, то люди пошли бы в храм. Да не пошли бы! Человек решает, идти или не идти в храм совсем не ради того, чтобы нечто «понять», «расслышать». А хочется ли ему понимать? Да и вообще за пониманием ли он в храм зашел? Ведь

молитва — это не сводка теленовостей. Тут понятность не самое главное. Будь оно иначе — православные интернет-странички стали бы конкурентами храмов...

И с нашей стороны главная трудность — не в языке богослужения, а в языке общения людей. Если бы оптинские старцы молились на китайском языке, люди все равно бы к ним шли, потому что старцы говорили на языке любви. Этого языка люди ждут, этот язык они чувствуют. И поэтому когда начинаются дискуссии о том, на каком языке вести службу, то, по-моему, это попытка уйти от главного. Почему в наших храмах мало любви? Вот главный вопрос. Остальное потом.

Вот заходит в храм человек, не прихожанин, а захожанин. Заходит в такую минуту, когда службы нет. Служба только что кончилась, и батюшка еще не успел из храма убежать. Человек заходит и видит: справа свечной ящик, там бабушка свечки продает; а слева батюшка стоит, ничем не занят. Вопрос: к кому обратится зашедший?.. Вот и вы дружно отвечаете, что к бабушке... Но тогда второй вопрос: ну почему нас, попов, так боятся? Если священники будут радоваться людям (не сбору, а людям!), то и люди будут радоваться священникам.

Но слишком часто священнику или епископу нечего сказать людям. И это видно, когда он пробует выдать из себя проповедь или интервью. Видно, что нет у него никакого интереса к людям. В последнее время даже появился такой тип священника, у которого нет даже экономического интереса к людям. Потому что у него есть парочка богатых спонсоров, и этого ему хватает и на ремонт храма, и на строительство дачи. Так что ему даже с точки зрения экономики не интересно, чтобы у него больше прихожан было. У него и так все хорошо ...

Беда наших приходов, на мой взгляд, в другом. Не в наличии церковнославянского языка, а в отсутствии языка любви. Я, повторюсь, уверен: если бы и преподобный Серафим Саровский совершал Литургию на китайском, люди бы все равно к нему шли. Они ощущали бы дух этого пастыря, они видели бы его глаза, лицо, неравнодушие к тем, кто стоит перед ним. Важно, кто священник — пастырь или наемник.

Священник из предстоятеля должен превратиться в председателя. В самом буквальном смысле этого слова. На богослужении священник именно пред-стоит. Он вместе с верующими смотрит в одной точку — на Восток, навстречу Второму приходу Христа. Поэтому, кстати, поворот престола и молящегося священника лицом к верующим (что сделали протестанты и католики) разрывает динамику богослужения, замыкает людей в их чисто человеческом и иерархическом общении. В таком случае люди смотрят друг на друга, настоятель противопоставлен молящимся...

Так вот, кроме — пред-стояния, священник должен еще и пред-седать: после службы, в собрании, чаепитии, беседе. Нужна обычная человеческая доступность священника. И вот в этом смысле у тех же протестантов лучше. Чем у нас. Нет-нет, не спешите обвинять меня в экуменизме. Я всего лишь повторяю то, о чем мечтал еще святитель Феофан Затворник: «Отчет я читал.

Там нет ничего неправославного. Хвалит штундистов не как правоверующих, а что как кто станет штундистом, так начинает добре жить. Цель у него завести православную штунду. Ведь штунда, собственно, есть собрание для бесед благочестивых не в богослужebные часы. Тут поют духовные стихи, читают Евангелие, книги, беседы ведут. Я рекомендовал ему этот отчет представить владыке с той целью, чтобы возбудить его заводить везде православную штунду, внецерковные собрания и беседы».

Нет, я не встал в позу обличителя, тыкающего пальчиком в чужие грехи и немощи. Сказанное мною — лишь часть нашего общего серьезнейшего недуга. Имя этому недугу — неправославие. Неправославие не в смысле ереси и отступления от догм. Неправославие в смысле неверной молитвы. Это и мой личный недуг. Богослужение очень часто отбирает у меня силы, а не дает. Почему, причастившись Тела и Крови Христа, я чувствую себя уставшим? Мне прилечь хочется, вместо того чтобы, «с миром изыдя о имени Господнем», горы с места сдвигать, ибо все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе (Флп. 4:13)... Эта послелитургическая немощь есть признак духовной болезни. Знаю, что бывает иначе, что порой именно после службы летишь как на крыльях. Но почему же так редко? Почему так в прошлом?..

Наконец, говоря о «понятности», стоит помнить, что понятность — это вещь отнюдь не лингвистическая. Есть непонятность, порождаемая различием личного опыта. Есть непонятность, порождаемая расстоянием между культурами. Богослужение родом из византийской культуры, и это уже предполагает, что его язык до некоторой степени иностранен. Даже если его перевели на современный язык.

Вы встречали издания Канона Андрея Критского с переводом на современный язык? И что, понятно? Да ничего не понятно! Чтобы его понять, надо на отлично знать Ветхий Завет.

Ну, переведете вы с церковнославянского: «Ниневитяны душе слышала еси кающияся Богу». Но что это скажет душе, которая как раз никогда и не слышала про «ниневитян» и про их покаяние? Бесполезно говорить: «Будь как Жанна д'Арк» — тому, кто никогда не слышал о ее жизни и подвигах. Бесполезно говорить: «Кайся, как ниневитяне» — тому, кто и знать не знает, что такое Ниневия, где она находилась и что там произошло...

Или — из Чина исповеди: «Боже... Иже пророком Твоим Нафаном покаявшемуся Давиду о своих согрешениях, оставление даровавший». Перевели на русский: «Боже... Который через Своего пророка Нафана даровал оставление грехов покаявшемуся Давиду». Ну и что? Для того чтобы понять эту фразу, надо знать не церковнославянский язык, а то, кто такие Давид и Нафан, что произошло между ними (см.: 2 Цар. 12) и в чем был грех Давида...

Другой же, и очень серьезный вопрос, — вопрос о мере нашего созвучия уже не Библии, а византийской литературе. Меняются вкусы. То, что казалось прекрасным византийским литераторам, кажется пошлым современному человеку. Позолоченный предмет в бытовом обиходе — что это: изысканность или дурновкусие? Раскрываю один из акафистов Божией Матери и встречаю там выражение: «О Ручка позлащенная». Может, византийцев это и приводило в

благоговейный трепет. Если же это на русский перевести, то будет: «О позолоченная Ручка»! Чем лучше-то стало? Только еще больше видна дистанция, отделяющая нас от византийской культуры и ее штампов. Это уже не вполне наш язык, не во всем наша культура. И опять — нужны пояснения: Божия Матерь потому Ручка, что Ее Сын говорил: Я есть Дверь (ср.: Ин. 10, 7).

А если пояснять все — так и молиться не будет времени... Чукотский писатель Юрий Рытхэу рассказывает, что впервые с поэзией Пушкина он познакомился в переводе, который его школьный учитель сделал для своих учеников. Стремясь объяснить все непонятное, учитель получил такой перевод: «У берега, очертания которого похожи на изгиб лука, стоит зеленое дерево, из которого делают копылья для нарт. На этом дереве висит цепь из денежного металла, из того самого, из чего два зуба у нашего директора школы. И днем, и ночью вокруг этого дерева ходит животное, похожее на собаку, но помельче и очень ловкое. Это животное ученое, говорящее...».

Так что вопрос не в языке, а в посещаемости церковно-приходских школ, в том, насколько мы знаем библейские события и соотносим их со своей жизнью. Я убежден, что не форму богослужения надо менять, а церковную жизнь за пределами богослужения надо разнообразить. Не надо ничего менять во внутренней церковной жизни: в том, что касается богослужения, в том, что называется словом «Православие» (умение правильно славить Господа). История показывает, что народ очень болезненно воспринимает, когда власть или отдельный человек прикасаются к этому жизненному нерву Православия — обряду, молитве, Таинству, составу вероучения.

Но могут быть реформы в церковном дворе. Не в церковных стенах, а в церковном дворе — на территории, окружающей Церковь, — территории, пограничной с миром внешней культуры. Ступеньки, подводящие к церковной двери, могут ремонтироваться, реформироваться. Но собственно церковное пространство, обжитое, намоленное, дорогое для людей, которое уже в Церкви, я думаю, не стоит перестраивать.

Представьте себе: мы, современные люди — студенты, аспиранты и прочие, живем в современной информационной цивилизации, и вот однажды кто-то из нас, какой-то внучек приезжает в деревню к бабушке, на каникулы. А бабушка встречает его на околице и говорит: «Ты знаешь, я так тебя ждала, что к твоему приезду у себя в избе евроремонт сделала». Не думаю, что внучка сильно обрадует такого рода сообщение. Так что, при всей безудержной переменчивости нашей светской жизни, просто хотя бы для того, чтобы не сойти с ума, нужны островки стабильности, островки архаичности, традиционности. Поэтому я ни в коем случае не сторонник реформ Литургии.

Но если в храме или вне его, до службы или после будет возможность для общения людей, для встреч, дискуссий, тогда и вопрос языка богослужения будет просто неинтересен. Не устраивая в храме евроремонта, нужно просто расширить дорогу, ведущую в него.

И нельзя не учитывать здесь еще одно обстоятельство, хотя оно не решающее: у разных текстов разное назначение. Одни существуют для того, чтобы донести до людей некую информацию, другие — чтобы совершить некий

сдвиг в душе человека. Мы читаем утренние молитвы не с той же целью, с какой читаем утренние газеты. Поэтому критерий понятности здесь все же не главный. Очень многие религиозные традиции мира сохраняют это странное двуязычие: мусульмане всего мира молятся на арабском языке, независимо от того, какой у них родной; буддисты всего мира молятся на пали или на тибетском языке (а не на калмыцком или бурятском); индуисты молятся на санскрите, хотя он и не похож на современные языки Индии.

А знаете, как человек переживает церковнославянский язык, если только он разрешит себе с любовью вслушаться в его мелодику? Об этом рассказал Валентин Распутин. Персонаж его повести «Дочь Ивана, мать Ивана» так открывает мир нового для него языка (языка, а не «базара»): «Он взял с собой из дому на всякий случай книгу народных пословиц и церковнославянский словарь. И на всякий же случай на третий или четвертый день раскрыл словарь. Полистал, вслух повторяя осторожно и трогательно, словно пробуя на вкус и боясь вспугнуть: лепота, вельми, веря, чресла, навет, златозарный, светосиянный... и откинулся в изнеможении: что это? Если бы отыскался человек, воспитывавшийся в глухом заточении и никогда не слышавший слов мама, люблю, дорогой, спасибо, никогда от рождения своего не ведавший ласки и не засыпавший под колыбельную, он бы их тотчас понял и узнал при встрече, потому что он и не жил без них, все ждал и ждал, когда прикоснется к нему волшебная палочка их звучания и оживит его. Иван точно клавиши перебирал, и дивная музыка узнавания звучала в нем мягкими и торжественными аккордами. Все эти слова, все понятия эти в Иване были, их надо было только разбудить... все-все знакомое, откликающееся, давно стучащееся в стенки... Это что же выходит? Сколько же в нем, выходит, немого и глухого, забитого в неведомые углы, нуждается в пробуждении! Он как бы недорожденный, недораспустившийся, живущий в полутьме и согбении».

Это не означает, что я считаю церковнославянский язык в его нынешнем виде неприкосновенным. Церковнославянский язык всегда был языком храма, то есть он никогда не был языком улицы. Это изначально искусственный язык, на нем никто никогда друг с другом не разговаривал. Это — эсперанто*. И в этом его огромное преимущество, связанное с тем, что церковнославянский язык легко поддается реформам. Поскольку это искусственный язык, то при наличии воли его легко реформировать, осовременить. Сделать то, что, собственно, и происходило на протяжении столетий. И конечно, современный церковнославянский язык — это не вполне язык Кирилла и Мефодия: между ними немало различий, появившихся в результате постепенной русификации церковнославянского языка. Каждый переписчик текстов изменял их язык отчасти вольно, отчасти невольно. А вот с появлением типографий этот процесс удалось взять под контроль. Этот путь не закрыт и сегодня. По меньшей мере два раза за последние сто лет это происходило: в начале XX столетия был заново отредактирован круг богослужебных книг (издание вышло под руководством архиепископа Сергия), а в 70-80-е гг. последовал новый пересмотр, под руководством митрополита Питирима ...

Новые переводы, и «присочинения», и «опущения» при новых редакциях церковнославянских текстов знакомы церковной истории. И если при новом

издании выражение «неумытный Судия» (из 3-й коленопреклоненной молитвы на вечерне Пятидесятницы) заменить на «неподкупный Судия» или «немздоимный Судия», то вряд ли духовный смысл и эстетика богослужения потерпят какой-либо ущерб.

И все же в разговорах о том, что «в Церкви все непонятно», есть изрядная неправда. Неправда прежде всего — в словечке «всё». Как бы ни были непонятны действия священнослужителя или обороты церковнославянского языка, самая главная церковная молитва — «Господи, помилуй!» — прекрасно понятна, даже несмотря на то, что слово «Господи» стоит в звательном падеже ...

Еще одна неправда формулы: «В Церкви все непонятно» — в том, что эта «непонятность» имеет очень даже понятное и благое миссионерское последствие. Люди устали жить в искусственном мире, где все создано их головами и руками (а по-настоящему «понятно» только то, что технологично, причем эта технология знакома «понимающему»). Человек ищет опоры в том, что не является артефактом, что не имеет слишком уж броской и наглой этикетки: «Made in современность». Очевидная инаковость строя церковной жизни, мысли, инаковость даже языка и календаря, имен и этикета привлекает многих людей, которые не желают превращаться в «глотателей пустот, читателей газет» (выражение Цветаевой). Как раз это и есть признак истинной Церкви — непонятность ее, несводимость ее к нашим объяснительным штампам и привычкам. Это — признак нерукотворного, признак Чуда. Чудо не может вместить себя в символы, до конца понятные и вполне адекватно переведенные на секулярный язык. И поэтому язык Церкви (речь идет не только о языке веры и богослужения, но и о языке церковной мысли) никогда не может стать до конца «родным», своим для людей, воспитанных во внецерковном, а сегодня, пожалуй, и в антицерковном мире. Может, в Церковь, где все понятно, легче прийти. Но не стоит забывать, что из Церкви, где все понятно, также значительно легче уйти.

Неправда формулы: «В Церкви все непонятно» — и в предположении, что Церковь только для того и существует, чтобы с максимальным комфортом встретить автора этого «крика души», подвести его к церковному порогу и максимально «тактично», «понятно» и «культурно» расширить его кругозор. Но ведь Церковь существует не только и не столько ради осуществления миссионерских проектов. Люди сегодня напрочь забыли, что формы православного богослужения были созданы не для обращения вчерашних атеистов, а для помощи уже верующим людям в их духовном труде. Привести человека к порогу христианства не так уж трудно. Но человеку надо жить дальше. И Церкви есть что сказать не только неофитам. Если же все в речи Церкви понятно начинающему — значит, в дальнейшем для него закрыт путь к возрастанию. Если человеку, еще далекому от христианства, в храме «все понятно» — значит, в этом храме пусто. Если бы пятиклассник взял учебник пятого курса института и ему там вдруг все стало бы понятно — это означало бы, что дистанция в десять лет учебы между пятым классом и пятым курсом оказалась излишней, пустой. Пятикурснику не сообщается ничего такого, чего не мог бы быстренько понять и усвоить ребенок. Церковная же речь

предполагает приобретение человеком такого опыта, которого у него не было прежде. В этом смысле церковная речь эзотерична. Профан же требует, чтобы ему «сделали понятно» еще до того, как он прошел инициацию. У Церкви нет никаких секретов. Просто у нее есть такой опыт, который рождается и поддерживается в душах церковных людей. Им питается обряд, и ради его сохранения обряд и сложился.

В общем, никогда в храме не может быть понятно «всё» или даже главное, если человек не будет прилагать усилия к росту. Непонятность должна быть вызовом, побуждением к росту и к изменению самого недоумевающего, а не поводом к тому, чтобы церковная жизнь стала всецело понятна секулярному мышлению. Не понимать Евангелие — стыдно. Если душа бежит от «непонятной» православной службы — значит, душа нездорова. «Непонятно» — это приговор, выносимый Евангелием современной цивилизации, а не констатация «болезни» и «отсталости» Церкви.

Требование «обновления» Церкви в большинстве случаев не более чем средство психической самозащиты. Человек пытается объяснить сам себе (и отчасти окружающим), почему все-таки он не может слышать евангельский зов. В глубине сердца чувствуя истинность евангельских ценностей, человек старается заглушить голос совести.

В церковной жизни и молитве «все непонятно» людям, живущим вдалеке от Церкви, но при этом почему-то желающим реформировать не свою, а чужую среду обитания.

(Публикуется в сокращении)